

ТА

Я очень интересуюсь людьми, которые не интересуются мной.

Мне нравятся люди, которых я не знаю. Если я их знаю, они мне не нравятся.

Каждый день повторяю один и тот же путь. Каждый раз встречаю на нём новых людей. Поднимаюсь со станции метро по гранитной лестнице, с усилием продавливаю тяжёлую дверь, на которую с другой стороны так же сильно давит сквозняк. Но пока поднимаюсь, смотрю сквозь стеклянные двери на людей, ждущих кого-то или идущих по переходу.

Сегодня за дверями маячит знакомая фигура. Плотная, короткая, на толстых коротких ногах. В коричневых чулках и чёрных туфлях без каблука. Юбка ниже колен. Белая удлинённая ветровка. Голова серо-седая. Волосы кудрявые, жёсткие, постриженные коротко, по-мужски. Глаза маленькие на широком лице, близко стоящие, взгляд прицельный. В облике что-то хищное. Нет, львиное! Из-за серьёзного взгляда, седой гривы. Однако общее впечатление непрактично задорное. Эдакая бодрая деловитость, как у человека с чистой совестью, полагающегося только на себя. Всегда приятно встретить того, кто не нуждается в сопереживании. Если бы все сопереживали друг другу, как себе, мир бы умер от тоски. А мир жив.

Надо же, в моей памяти она пребывала совсем другой – грушеобразной, оседающей книзу. С грушеобразным же лицом, с мягкими щеками, подпёртыми воротником серо-белого пальто колоколом. С маленькими глазками, маленьким красным носом... Я бы никогда не узнала её, если бы не кукла у неё на руках. Эта женщина никогда не расстанется со своим большим пупсом. Одежка куклы засаленная. Белый байковый чепчик, коричневая вязаная кофта, ползунки, пинетки. Всё сшито вручную грубыми нитками. Всё честь по чести. По сезону.

Несколько неожиданно, что женщина выступает сегодня с табличкой: «Ребёнку срочно требуется операция». Никто не подаст, только я. И только затем, чтобы иметь основание подойти поближе.

– Вот, возьми копеечку, – протягиваю железку ценой в пять рублей.

– Копеечка – понятие растяжимое, – принимает монету и морщит лицо благодарственной улыбкой.

Я морщусь в ответ и медлю, стараясь повнимательнее рассмотреть. Опрятная. В ушах длинные серьги. Ухожу. Но тут же возвращаюсь и спрашиваю, показывая пальцем на куклу:

– Как её зовут?

– Танечка, – с кивком, с радостной готовностью.

Лицо снова сморщивается в улыбку, но жёсткость его при этом не смягчается. В дикции чувствуется урон, наверное, нет некоторых зубов.

– Ага, ага, Танечка...

Больше сказать нечего. Ухожу в задумчивости. Вот ведь как бывает. Иногда заурядное явление оборачивается неожиданной гранью. Кукле требуется операция. Я подошла из простого любопытства. Цена моего жеста невысока, как бы трогательно он ни выглядел со стороны. Впрочем, я совершаю столько поступков, что наверняка некоторые из них хорошие.

Выхожу на улицу в сутолоку вечерней массовки. Апрель и среда – два сходные по своей сути понятия. Навстречу девушка с красным цветком в руке. Оказалось – мороженое. На небе самолёт с белым шлейфом, в стороне валяется ещё большой распушённый обломок шлейфа, а дальше размазаны облака. Первый запах весны – запах краски. Везде красят заборы и цоколи, стены и фонарные столбы, решётки оград, кровли крылец. Я тут же забыла женщину с куклой.

Но забывчивость подобна сну. Нельзя ответить положительно на вопрос «Ты спишь?» и не соврать. Так же и я не могла бы сказать, что забыла о встрече в переходе, и не соврать, потому что при этом должна была бы помнить, о ком забыла. Я поняла, что напрочь всё забыла, лишь снова встретив на станции метро эту женщину с куклой на руках. Жара в метро. По спине течёт пот. Чужой.

Наверное, в тот раз ей никто больше не подал, и я осталась единственной неповторимой. Она меня сразу узнала. Поднялась навстречу. На локте одной руки неизменная Танечка, одета уже по-летнему, в другой руке большой грязный пакет, чем-то набитый. Почудилось, она меня специально поджидала. На этот раз на ней широкий белый плащ и шляпа. Фиолетовая. Линялая. С серой лентой и бантиком. Ринулась ко мне наперерез толпам, валящим к выходу. Сообщила без вступления:

– Все во дворе удивились, что я в шляпе. Ведь шляпы дорого стоят.

Киваю, и пока мы поднимаемся по лестнице к выходу в переход, соображаю, как бы сбросить нечаянный хвост. Придётся идти через парк, а там расстаться под благовидным предлогом и улизнуть домой.

В парке зелёный запах стриженной травы. Газонокосилки гудят на одной ноте, как осы. Спутница моя бухнулась на лавку. В белом плаще она выглядит будто куча мятых газет.

– Посмотри мою керамику.

И принялась вываливать из пакета расписанные цветочные горшки и чайники. Расставила в траве. На раздутых боках большущего чайника - ни много ни мало – «Любители абсента» Пикассо. Мне стало не по себе. А она смотрит на меня с жизнеутверждающим выражением, сдвигает шляпу с затылка на лоб:

– Так фасоннее. Возьми керамику, – и крепче прижимает к себе Танечку.

– У меня только пятьдесят рублей.

– Ну и ладно. Хороший Пикассо, похоже вышло. А форма бракованная, у горла обколосось. Я не люблю фаянс. Потому что он белый. Я люблю глину.

Присаживаюсь на корточки, чтобы рассмотреть желтоватые горшки и чайник. Все изделия с каким-нибудь ущербом. Расписаны коричневым, синим и зелёным с небрежностью, но живо. Обожжены профессионально.

– Где обжигаешь?

– На комбинате. Вечером полно остаётся краски и брака. Расписываю и подкладываю художникам в муфель. Его по утрам включают. Они потом орут, чтобы я туда бой не совала, а мне всё равно. Пусть орут.

– Ты кем на комбинате?

– Дежурная по коридору! Все хотят мусорить и пачкать, а убирать никто.

Отдаю ей пятьдесят рублей, беру чайник и ухожу, пока она, не выпуская Танечку, одной рукой подбирает из травы и засовывает в мешок горшки. Ухожу в сумерках и в потрясении. Мигает светящаяся текстовая полоса. Время? Температура воздуха? Курс доллара! Вот так изменишь один раз курс и уже не способен узнавать даже привычные объекты.

Меня интересует только то, что меня волнует. Теперь я не смогу её забыть сразу. Есть даже опасение, что могу её не забыть никогда. В моих руках глазурированный глиняный чайник с любителями абсента. Вещественная память - самая тяжёлая, даже если хранимый предмет очень лёгкий, чего нельзя сказать о моём приобретении. Нельзя также сказать с определённой уверенностью, кто из нас двоих сейчас осуществил акцию благотворительности. Самая лучшая сделка - это когда обе стороны уверены, что они остались в выигрыше.

Чем ей помочь? Дружбой, деньгами, вещами? Я никогда не предлагаю людям плохое, а хорошее я хочу сама. В этой ситуации трудно делиться. И, кроме того, всегда есть подсознательный страх невзначай приручить. А после всю жизнь нести ответственность. А вдруг окажется, что приручил чудовище? Опасливость учит держать дистанцию. Иду и досаую, что сейчас дистанцию не удержала. Теперь благодарное чудовище будет подстерегать меня повсюду, высматривая в толпе маленькими любящими глазками.

Нежнейшее начало лета. Аквариумная погода. С тонким туманным дождём, когда зонт раскрывают только для того, чтобы полюбоваться его красотой. Не погода – зонтичная прелесть. На улице дома красные, окна голубые. Это ж надо, насколько наши люди не имеют вкуса - продовольственный магазин превратили в книжный. Две разговаривают за стеклом витрины. Машут руками, будто разговор глухонемых. Мимо идёт совершенно летняя девушка с совершенно зимней собачкой. Курортный цвет помады, когда губы плывут впереди лица. Лето. Пока я дошла до дома, увидела целых три поцелуя.

Время обрело вехи. Они встали вдоль потока праздников и буден плотные коротконогие, с Танечкой на руках. Последняя веха относилась к середине лета – периоду ползунков и распашонок из мадеполама. А нынче листья, как камни, падают в стоячие глубины осени. Проходя по парку, я невольно уворачиваюсь от них, коричневых и красных. А то огреет огненным, уйдёшь с ушибом, с ожогом. Уже почти три месяца приручённое

чудовище не подходило к моему плетню. Может, одичало и забыло? И тут как раз обнаружилось.

Она читала книгу на лавочке в метро. Ноги не достают до пола, и она покачивала ими. Танечка сидела на локте левой руки в тёплом комбинезоне, тёплой шапке, завязанная шарфом. Я постыдно заколебалась: подойти или, притворившись не заметившей, пройти незамеченной? Женщина быстро вскинула глаза и поймала меня. Захлопнула книгу. Я обречённо подошла, заглядывая в название:

– Роберт Рождественский. Дай почитать.

– Дам, когда сама прочту. Второй раз. Одна интеллигентка на рынке дала взамен керамики. Я ей керамику, а интеллигентка норовит книжку сунуть вместо денег. Ну и ладно, я беру, всё равно керамика даром даётся. А читаю в метро. В других местах некогда читать.

Убрала книжку. В глазах скука. От этого лицом похожа на угрюмого мужика. Руки в белой масляной краске, как в коросте. Обтирает их, ссыпая краску на пол:

– Не смогла отмыть. Не нашла растворителя.

Полезла в сумку и сначала достала два батона в полиэтиленовой упаковке. Положила их на пол и принялась вынимать тарелки и блюда, коричневые и белые, бесцеремонно выставляя под ноги идущим. На двух самых больших тарелках быстрыми широкими мазками были изображены на одной зелёная корова, облака и трава, на другой груша, яблоки и какие-то маленькие фрукты. Красиво, чёрт возьми.

– Из-за тарелок скандал на комбинате. Я их окунула в глазурь для художников. Художники стали орать, что испортила глазурь. Директор вызвал, потребовал писать заявление об уходе, я отказалась. Трудовой книжки у них нет, как они меня уволят? Говорят, уволят по статье. А по какой статье? Они не имеют права меня увольнять, у меня маленький ребёнок.

– Сколько Танечке лет?

– Два года.

– Серьёзно? Она выглядит старше. Ты не собираешься отдать её в детский сад?

– Нет! Вдруг украдут. Раз украли и не хотели вернуть. Еле умолила.

– Кто украл?!

– Ну, та. Живёт со мной одна. Возьми керамику, мне её некуда деть, только переколочу, пока буду у магазина просить.

– Возьму, они мне нравятся, – дала ей сотню. – Просить тоже статья дохода?

– А чего ж? – сунула сотню в карман. – Пока живём, всё время просим. На комбинате сказали убрать воду в комнате, где прорвало трубы, пообещали денег. Я воду убрала и пошла за деньгами. Директор достал толстую пачку пятисоток, соток, полтинников, дал полтинник и опять за своё: уволю за воровство глины и невыполнение служебных обязанностей. Я нанялась мыть только коридор, а рабочие комнаты нет. За такую-то зарплату.

Уношу с собой грязный пакет, в котором позвякивают и трутся друг о друга глиняные тарелки и горшки. Они мне милы. Настоящестью, бесхитростностью. Не так-то всё просто в жизни у их создателя. Даже на чумазую куклу-пупса нашёлся похититель. Фарс, если смотреть со стороны. А изнутри – трагедия. И ещё... Танечке два года. А я знаю её добрый десяток лет. Годы заметно отразились на ней. Чего нельзя сказать о её хозяйке, вернее, матери. Кукла стареет. А человек нет. Странно.

Как-то утром подошла к окну, а во дворе все машины белого цвета. Оказалось, снег! Зима пришла. И сразу ушла. Пасмурно. Нехолодно. Ветер налетает, словно поезд, с грохотом проносясь над головой. Из лужи глядит лик луны. Всё черно. В такую бесснежную зиму дворники должны на Новый год раскладывать везде толстый надёжный снег. Зашла на почту, и сразу громкий зов:

– Я здесь! Вот я, за столиком!

Очередь у стойки оглянулась вместе со мной. Она. С укутанной Танечкой. Узел замызганный под ногами. Подхожу, киваю приветственно:

– Как протекает твоя жизнь?

– Моя жизнь протекает. Сiju вот на почте, – глаза на этот раз весёлые. – Той дома нет, домой попасть не могу. С почты ей звоню.

– Ключи забыла? Бывает...

– Да у меня их и нет. Та не даёт. Я уйду, она запрётся и копается в моей комнате. Ну, да, у меня дверь не запирается. Барахло кучами по углам. Бери чего хочешь. Та унесла к себе и фотографии, и письма, и картины мои ещё с художественного института.

Говорила громко, обращалась только ко мне. Будто мы были одни с ней. При этом в интонации не было слезы, скорее, наоборот, какое-то удовлетворение от таких её нестандартных обстоятельств. Очередь поглядывала на нас. Причём я, хоть и молчала, была для всех не менее интересным персонажем. А моя собеседница с добродушной гримаской на лице бойко, словно выученную роль, рассказывала, почему-то о курах.

– Оставалось доучиться последний класс и поступить в художественный институт. Пришла писать церковь, а за оградой гуляли куры, важные такие. Я не утерпела и стала гоняться за ними. Задела этюдник, опрокинула. Акварель высыпалась из коробки в траву. Вода пролилась. И поэтому живопись вышла не замученная. Я этот этюд хранила, пока та не сгребла всё в охапку и не спрятала у себя. Шицков был художником и преподавал в институте. А я работала лаборанткой на кафедре керамики. Та потом училась на этой кафедре. Она и документы у себя спрятала. Оставила мне одну инвалидную книжку. По ней в метро пропускают, в собесе помощь выдают, в сберкассе пособие... А что ещё надо? Инвалидная вместо паспорта, вместо трудовой.

Подвинула к себе мешок ногой, склонилась над ним, копаясь одной рукой, бормоча:

– На вернисаже была. Предлагала рельефы, Мадонна с младенцем. Какой-то бородатый спросил: «Что это?» Я: «Это Богоматерь кормит

младенца грудью. Вот грудь, выпуклость.» Он: «Ну-ка, покажи, покажи грудь.» Говорю: «Холодно здесь на вашем вернисаже грудь показывать.» И в церковь пошла. Там тепло. Всё цветами убрано. Хожу, ощупываю цветы, настоящие или нет?

Сунула мне икону керамическую – тёмно-коричневая, рисунок по барельефу скупо выведен хромом, сажей и малиновым. Я сунула руку в карман, вытащила двести пятьдесят рублей, все ей отдала.

– Очень красивая вещь...

Она словно и не слышит, запихивает одной рукой деньги в карман, тараторит о своём.

– Там у помойки куча поломанных игрушек, машинок. Блестящие, цветные. Набрала целую сумку. Люблю игрушки, расставляю дома и буду смотреть пока зима. А надоеет – выброшу.

– Долго ещё продлится зима. Только что Новый год был, – я отступила с иконой.

– Нет. Уберу ёлку, и наступит лето.

Зачем я пришла на почту? А! Хотела подписку оформить. Теперь денег недостаточно. Прижала к себе Богоматерь и отправилась домой со смешанным чувством изумления и досады, будто перед глазами пронёсся фрагмент какого-то захватывающего и безумного фильма и оборвался.

Действительно, ёлку убрали, и зима закончилась. А весна долго не наступала. Наконец постепенно стала захватывать улицы, парки, двор. И вот она уже на моём балконе. Я с работы возвращаюсь засветло. Опять мне навстречу девушка. Откуда-то они появляются к лету, выбирают из коконов и расправляют радужные крылья. На этот раз невысказанно рыжая. Волосы медные, гулкие! За волосы в неё можно влюбиться мучительной любовью с томлением о прекрасном, даже не заглядывая в лицо, только намотав на взгляд плотную волну неистового цвета. Девушка невысокая, бледнокожая, с оголённым животом. Зимой ценятся шубы – летом тела. Она идёт на помойку с большущим узлом, который с усилием переваливает в мусорный бак. А из узла торчит кукла в белом засаленном чепчике, в шерстяной коричневой кофте.

– Это же Танечка! – ахаю невольно.

Рыжая оборачивается. Лицо нежное и пустое.

– Мать умерла. Неделю лежала и умерла.

– Как же... У меня же её Богоматерь... любители абсента... тарелки... Что... Сочувствую. Неожиданно. Хотя, это всегда неожиданно. Печально. Твоя мать была настоящим художником.

– Когда-то была. Наверное, тогда, когда я была Танечкой Шицковой... У матери должна быть ещё и голова, а не только сердце, – и вдруг выпаливает мне быстро, на одном дыхании: – Однажды говорит мне строго так: «Где моя дочка?» Я отвечаю: «Вот я, здесь.» Она: «Нет, ты не моя дочка, моя дочка маленькая, куда ты её дела?! Верни мне её!»

– И ты вернула ей Танечку.

– Жизнь некуда откладывать. Если человек не хочет со мной мириться, я сама мирюсь с ним.

– Мириться не обязательно. Но надо, чтобы все были спокойны. Сколько тебе тогда было?

– Тринадцать. Говорят, надо наслаждаться каждой минутой жизни. А можно ли наслаждаться последней?

– Так ты и есть та.

Кивает.

– Как же ты жила?

Пожимает плечами.

– Если когда-нибудь я назову эту жизнь счастьем, это будет значить, что я глубоко несчастный человек.

Ещё раз кивает в знак прощания и уходит, поразив меня мудростью и упреждая мои ненужные вопросы. Чем человек слабее, тем мудрее.

Смотрю ей вслед, и мне открывается история, как в темноте захлампленных подсобок кафедры керамики вылепилась из сероватой рыхлой глины девочка Таня, в шёпоте и суматохе кое-как была расписана, покрыта глазурью и тайком обожжена в муфеле. Шицков не сильно старался, а с матери что взять, она лаборант. Таня вышла недорасписанная, только богатый цвет волос указывал, что к её созданию приложил руку художник.

Приближаюсь к мусорному баку. Всматриваюсь в лицо свергнутой самозванки, переживая те стихийные чувства, с которыми стоишь у гроба. Та сказала, жизнь коротка, её надо прожить, а не переждать. Какое кладбищенское настроение в пейзаже. Я до утра буду искать тот бок, на котором засну.